**<http://magazines.russ.ru/zvezda/2007/3/la11-pr.html>**

**Опубликовано в журнале:**[**«Звезда» 2007, №3**](http://magazines.russ.ru/zvezda/2007/3/)

***ЭССЕИСТИКА И КРИТИКА***

**ВЛАДИМИР ЛАПИН**

**Запахи и звуки Санкт-Петербурга**



При изучении города не следует “отвлекаться от потока целостной жизни”1, полагал Н. П. Анциферов, “постигать город можно, вслушиваясь в его шум („голос”), вглядываясь в „лицо”. У каждого города свой голос — преобладающий звуковой фон, шум: будь то падающая вода многочисленных фонтанов, цоканье копыт лошадей, звонки трамваев и т. д. Вслушивание сменяется разглядыванием и разгадыванием”.2 В медицине существует традиция называть операции по фамилии врача, вводившего их в лечебную практику, поэтому предлагаемый на суд читателей очерк есть попытка препарировать ольфакторный и звуковой фон Петербурга “по Анциферову”. К предмету анатомии города этот выдающийся историк относил место, на котором он построен, почву, рельеф, растительность, связь с водой, количество осадков, направление ветров и т. д.; его планировку.3 Изучение города, “пульсирующего всеми своими органами через деятельность общества”, Анциферов называл “физиологией”.4 При этом выделялись девять пунктов исследования, в соответствии с функциями: 1) место общежития, 2) торгово-промышленный центр, 3) транспортный узел (включая почту, телефон и радио), 4) медицинский центр, 5) коммунальное хозяйство, 6) администрация, 7) военный центр, 8) место сосредоточения духовной культуры, 9) центр развлечений. Кроме того, физиология города предусматривала изучение состава населения.5 При определении того, что называть “психологией” Санкт-Петербурга, Анциферов высказывался не столь конкретно: “Душой города мы условимся называть исторически сложившееся единство всех элементов, составляющих городской организм, как конкретную индивидуальность”.6 Особый интерес для изучении психологии (души города) имели: a) городской пейзаж, b) исторические судьбы, с) хранилище воспоминаний, d) характер населения, e) выражение художественных вкусов.7

“Анатомические” (по Анциферову) природные особенности влияли на звуки и запахи столицы, разделяли их на летние, осенние, зимние, весенние и внесезонные. Предвестником окончания зимы был шум масленичных гуляний. В середине XIX века в такие дни за 500—700 метров от праздничных балаганов было слышно, “как в звонком морозном воздухе стоял над площадью веселый человеческий гул и целое море звуков — и гудки и писк свистулек, и заунывная тягучка шарманки, и гармонь, и удар каких-то бубен, и отдельные выкрики”.8 Во время масленичных гуляний город заполняли вейки-возчики, зарабатывавшие традиционным катанием публики. Их лошади, “увешанные… голосистыми колокольцами и бубенцами, большими, маленькими, басистыми, дискантовыми… Всюду начинало пахнуть свежим сеном, крепким финским табачком; всюду слышалась коверканная ингерманландско-русская речь. И насколько же приятнее было вместо приевшегося: „Да положите, барин, четвертак!” — хоть раз в году услышать долгожданное: „Рицать копеек — райний сэна!””9 С. Р. Минцлов вспоминал, что звон бубенцов 8 февраля 1904 года был слышен даже через двойные рамы.10

Очень по-петербургски звучат стихи А. Н. Майкова:

Весна. Выставляется первая рама,

И в комнату шум ворвался,

И благовест ближнего храма,

И говор народа, и стук колеса…11

Уборка зимних рам имела характер ритуального действия, связанного с приходом весны.12 Эффект усиливался тем, что увеличивалось число пешеходов, которых ненастье уже не разгоняло по домам, а сани заменялись колесными повозками. С этого дня слышалось “звонкое и каменистое на булыге, тупо причмокивающее на просыревших за весну торцах цокание конских копыт по мостовой…”.13 Контраст усиливало и то обстоятельство, что в Великий пост, предшествовавший Пасхе, город заметно затихал: не играли военные оркестры, не звонили колокола, полиция следила за тем, чтобы “зажигательные” звуки не доносились из увеселительных заведений.14

Выставление рам являлось своеобразным сигналом для множества людей, зарабатывавших торговлей вразнос, для уличных музыкантов и артистов.15 “...И на сколько различных голосов, напевов, размеров и ритмов возглашали они во всех пропахших сложной смесью из кошачьей сырости и жареного кофе дворах свои откровения торговых глашатаев…” — отметил в своих записках Лев Успенский.16 Он же указал на роль запахов и звуков разносной торговли в складывании особого ритма городской жизни: “Бывало, подходит время, и слышно со двора: „Огурчики малосольные, огурчики!” Пройдет положенный срок — доносится другая песня: „Брусника-ягода, брусничка!” Осенью всюду звучит: „А вот кваску грушевого, лимонного!” Весной же… зазвучало и понеслось привычное, как в деревне свист скворца или грачиный гомон на березах: „Клюква подснежна, клюк-ва-а!””17 Во время постов бойко шла торговля рыбой, и “селедошницам” не надо было особенно надрываться, чтобы сбыть свой товар. На Троицу в город приезжали тысячи возов с березовыми, липовыми и рябиновыми ветками, с охапками полевых цветов, которыми принято было украшать церкви и жилища в этот праздник.18 После этого праздника продавцы банных веников вносили во двор аромат сушеных березовых листьев, а торговцы швабрами — особый дух липовой коры.19

В марте оживали суда, зимовавшие на реках и каналах Санкт-Петербурга. На еще скованных льдом пароходах начинали дымить трубы, стучали двигатели — шкиперы готовились к навигации.20 В конце зимы в Петербурге чистили крыши. Скопившаяся на 10—15-метровой высоте снежно-ледяная масса представляла реальную угрозу прохожим, поскольку в центре города карнизы нависали над многолюдными тротуарами. В провинции и в полупровинциальной Москве снегу было куда падать, и тамошним дворникам приходилось лазить по мартовским крышам только там, где дом стоял по-питерски — фасадом по красной линии, а не отодвигался в глубь участка, по-московски прикрывшись палисадничком. “И какой это был особенный петербургский звук — гулко бухавшие снеговые глыбы!” — писал в своих воспоминаниях об очистке столичных крыш М. Добужинский.21 “На Фонтанке треснул лед, в гости корюшка плывет” — городской фольклор не мог обойти такого яркого, типично столичного явления, как массовый лов корюшки и столь же массовое поедание ее горожанами. Неповторимый “огуречный” запах этой рыбешки — петербург-ский ольфакторный весенний бренд. Не отведать корюшки в апреле-мае — как не получить крашеное яйцо в Христово воскресенье.

Примечательно, что в литературе и в мемуаристике почти нет июньско-августовского Петербурга (за исключением фантастики белых ночей), так как пишущие люди поголовно в эти месяцы наслаждались свежим воздухом и покоем сельской жизни. Духота, пыль и грохот от строящихся и ремонтируемых домов, стремление провести на природе короткое лето были причиной массового выезда петербуржцев на дачу.

Уличное освещение, введенное по европейским образцам Петром I в 1718 году, до 1863 года имело вполне родной аромат, поскольку лампы заправляли конопляным маслом.22 В 1849 году в Петербурге в нескольких центральных районах появились спиртовые фонари, которые в 1860-е годы пришлось заменить на керосиновые, поскольку “никакой самый строгий надзор не в силах уследить за теми ухищрениями, при помощи которых неблагонадежные служители присваивали себе часть материалов”.23 Во время заправки уличных светильников при всей аккуратности фонарщиков капли топлива проливались, и в маловетреную погоду по улицам тянуло керосином, спиртом или конопляным маслом. Поскольку фонари не зажигались с 1 мая по 1 августа, эти легкие запахи становились знаком окончания лета. От газовых фонарей, получивших широкое распространение на рубеже XIX—XX веков, отходило какое-то особое бело-зеленое холодное сияние, необычное для глаза, привыкшего к тому, что свет окрашен в теплые тона — красный и желтый. “…Их своеобразный свет, отражавшийся в черных водах осенней или весенней Невы, в ее полыньях, в лужах талой воды на поверхности неоглядных ледяных полей, не спутал бы ни с каким другим светом ни один мой ровесник”, — писал в своих воспоминаниях Лев Успенский.24 Лучина, свеча, керосиновая лампа своими запахами прибавляли реальности всему, что попадало в круг, вырванный из темноты. Газ, наоборот, отрывая свет от запаха горения, от этой реальности отодвигал. Не потому ли фонари Александра Блока издают “белесый”, “бессмысленный и тусклый свет” и вообще к их образу так любят обращаться литераторы для усиления фантастичности городского пейзажа в своих произведениях?

Звуковой и ольфакторный фон петербургской осени также получил довольно слабое отражение в литературе и мемуарах. Одно из немногих исключений — фрагмент из записок Мстислава Добужинского, которому нравился сентябрьский Каменноостровский проспект: “Цоканье копыт, шуршание резиновых шин, только что появившихся, а утром стук молотков (чинили шоссе) и особенный петербургский запах сырости — все одно с другим сливается в уютнейшее воспоминание осени на Каменном острове”.25 Осенняя поездка в Павловск “пошуршать листьями” была для многих петербуржцев ритуальным ежегодным действом.26 С наступлением холодов зимние рамы возвращались на свое место, и горожанин более чем на полгода отгораживался от уличного шума.27

В холодное время года, как теперь принято говорить — отопительный сезон, город пропитывался запахом множества печей. Тысячи бело-серых “хвостов” привлекли к себе внимание Ф. М. Достоевского: “Подойдя к Неве, я остановился на минутку и бросил пронзительный взгляд вдоль реки в дымную, морозно-мутную даль… Сжатый воздух дрожал от малейшего звука, и словно великаны со всех кровель обеих набережных подымались и неслись вверх по холодному небу столпы дыма, сплетаясь и расплетаясь по дороге, так что казалось, новые здания вставали над старыми, новый город складывался в воздухе”.28 Русские леса расплачивались за европейский облик имперской столицы. Итальянские, французские, английские архитекторы и их русские последователи в своих проектах на первое место ставили эстетические достоинства здания и удобство планировки. Создатели великого города не особенно задумывались о том, как жить зимой в подобии венецианского палаццо на границе с Лапландией.

Запах дыма в зимние месяцы разносился не только из многочисленных дымовых труб домов. “Всемирная иллюстрация” писала в 1890 году: “во время больших морозов в Петербурге и в Москве на улицах нередко зажигаются огни: из соседних домов приносят по нескольку полен, которые складывают одно на другое и зажигаются; около такого костра вы найдете кучку дворников из ближайших домов, обязанных неотлучно быть на улице у своих ворот, да двух-трех извозчиков, замерзших в ожидании седока. Такие уличные костры завелись в наших столицах издавна, и в начале нашего столетия их жгли так же аккуратно, как и ныне. Между прочим, они дали повод к весьма пикантной басне, распускавшейся тогда о нас в Западной Европе: европейцы и особенно французы, побывавшие на Руси зимой, рассказывали по возвращении домой, что русские принуждены топить улицы, — иначе бы, дескать, им и на улицу нельзя было выйти…”. Вместо простых костров в центре города часто устраивались металлические бочки-“грелки”. Возле них грелись кучера, ожидавшие разъезда театральных зрителей (1880-е годы).29 Альтернативой были специальные жаровни с углями, но костры не сдавали свои позиции.30

Дым зимой во дворах центральной части города добавляли так называемые “снеготаялки” — убирать снег полагалось начисто, сбрасывать его в реки и каналы запрещалось, а вывоз на окраины стоил очень дорого. Значительно дешевле было поставить особую печь, где снег топили, а воду спускали в ливневую канализацию.31 Печной дым не очень вязался с парадным обликом Санкт-Петербурга, был символом дискомфорта и слишком “изнаночной стороной” городского быта, чтобы стать любимым предметом для мастеров кисти. Изображение дымов является редчайшим исключением в работах художников XVIII—XIX веков.

Абсолютное доминирование дровяного дыма в ольфакторной картине зимнего города породило противопоставление Россия—Запад в этой сфере. Для М. Добужинского запах каменного угля был символом заграницы: в России паровозы и пароходы ходили на дровах, и только на первой прусской станции Эйкунден можно было уловить дым от ископаемого топлива. Это “европей-ское” ольфакторное впечатление отметили также И. А. Бунин и Ф. М. Достоевский.32 В свою очередь, иностранцы обращали внимание на огромное количество древесины, предназначенной для отопления города, и на то, что каменный уголь до второй половины XIX века применялся довольно редко.33

Запахи, так же как и звуки, составляли своеобразный календарь, задавали ритм жизни как всего города, так и отдельных его районов. “Наши патриотические русские запахи, действующие на обоняние входящего в любой гбван-ский дом, можно разделить на двухнедельные, возобновляющиеся каждые две недели, это — запах от только что испеченного черного хлеба; далее — на запахи воскресные; это запах от домашних сдобных булок и от больших пирогов с сигом, сомовиной, рубленой капустой, с яйцом, морковью, кашей, грибами и вареньем. Потом тамошние запахи можно разделить еще на скоромные и постные, горячих и жаркъх; потом еще на запахи ежедневные, от щей и от матушки нашей гречневой каши, румяной, малиновой, рассыпчатой…” — так оценивал один из бытописателей атмосферу Гавани середины XIX века.34

Равнинный рельеф препятствовал охвату города (или его значительной части) одним взглядом с какого-либо возвышенного места, как это возможно, например, во Флоренции или в Париже. Петербург оглядывали с берега Невы, где человека встречал не шелест деревьев и запах поля, а плеск волн и дух воды — чужой для Руси. По соленой воде проходила граница “инакости” по отношению к православию и ко всему русскому. “Заморский” означало “чужой”, а “за морями” — несказанную даль. Не по-русски пах у воды город Святого Петра! Антропогенные шумы и запахи Северной столицы тотально подавляли природные, вследствие чего усиливалось впечатление об ее иноземности, “каменности” и предельной удаленности от того, что в умах россиян ассоциируется с образом родины (лес и поле). Балтийские ветры уносили жилые запахи, и город терял один из важнейших признаков места обжитого. В сочетании с ясно видимыми объектами это способствовало появлению чувства нереальности. Не случайно многим город казался призрачным именно у Невы, где ничто не мешало воздушным потокам. Когда Родион Раскольников рассматривал Исаакиевский собор с Николаевского моста, “…необъяснимым холодом веяло на него всегда от этой великолепной панорамы; духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина”.35 А известная художница А. П. Остроумова-Лебедева очень любила, “когда дул западный, морской ветер. Он приносил запах моря, свежесть и ясное чувство простора”.36

Наводнение, специфически петербургское стихийное бедствие, имело свое звуковое и “запаховое” оформление.

Ночью пушечный гром грохотал —

Не до сна! Вся столица молилась,

Чтоб Нева в берега воротилась… —

писал Н. А. Некрасов. Только артиллерия могла служить средством экстренного оповещения. Система тревожных сигналов, появившаяся еще в Петровское время, постоянно совершенствовалась. Пушка била сначала через час, потом — через полчаса, а когда уровень воды более чем на 7 футов превосходил норму, раздавались уже сдвоенные выстрелы каждые 15 минут.37 После возвращения Невы в свое обычное русло ее буйство еще долго напоминало о себе запахом сырости от промокших стен, дров и подвалов, что, впрочем, не шло ни в какое сравнение с тем смрадом, который производило содержимое тысяч помоек и выгребных ям, разнесенное волнами по всему городу38, а также размытые могилы. Особенно сильно страдало Смоленское кладбище. В 1824 году там всплыло столько гробов, что мальчишки катались в них, как в лодках. На Васильевском острове “весь грунт <был> занесен каким-то зеленым вонючим илом, вероятно с моря”.39

Вода прибывала так стремительно, что не всегда удавалось перегнать на безопасное место даже лошадей. Другой медленно передвигающийся и плохо управляемый скот при высоком уровне воды был практически обречен. А. С. Грибоедов, свидетель катастрофы 1824 года, отметил в своей статье “Частные случаи петербургского наводнения”, что на Большой Галерной улице лежали “раздутые трупы коров и лошадей”. Поэтому со стороны Смоленского поля очень долго несло жутким запахом горелого мяса — в громадных кострах уничтожались четыре тысячи утонувших коней и коров. Как выразился Пыляев, там “курилась огромнейшая жертва Посейдону-истребителю”.40 Этот же смрад разносился и из многих других мест: полиция и дворники жгли погибшую мелкую живность — собак, кур, кошек, мышей и крыс.41 О пережитых ужасах долго напоминал особый затхлый запах хлеба, который пекли из подмоченной муки.42 Навигация к тому времени уже завершилась, санный путь еще не установился, и даже самые расторопные купцы не могли привезти в город свежие продукты.

Другой ольфакторный след наводнения оставляли в самих жилищах: насквозь промокшие печи нещадно чадили из-за упавшей тяги, продукты горения не вылетали в трубу, а частично впитывались кирпичами, а затем “выдавливались” внутрь помещений, наполняя их резким неприятным запахом дегтя. Ситуация усугублялась тем, что топить приходилось сырыми дровами, так как буря разметала заготовленные на зиму штабеля сухих поленьев. Жители Кронверкского проспекта 23 сентября 1924 года имели все основания говорить о том, что ветер выл по-звериному. Как писала одна из сотрудниц зоопарка, “с хищниками творилось нечто невообразимое. Несмотря на возвышенное положение клеток, вода подступила зверям под живот. Многоголосый вой заполнил всю территорию сада”.43 Эти слова подтверждают записки и других современников.44 Может быть, это вдохновило пролетарского поэта И. А. Груздева, сочинившего на злобу дня следующие стихи:

Буря выла подстреленным волком,

Хохотала злым хохотом бед,

Но спокойно, со знанием долга,

Со стихией боролся Совет.45

Наводнение как экстраординарное явление сопровождалось не менее экстраординарным звуковым аккомпанементом: “Среди общего шума, производимого водой и ветром, вдруг страшно и непривычно раздался пронзительный свисток небольшого мелкосидящего буксира, пронесшегося по 3-й линии Васильевского острова и деловито скрывшегося за углом Среднего проспекта”.46

В местах, не тронутых человеком, даже в дождливые сезоны поверхность земли остается достаточно плотной для беспрепятственного движения пешехода, всадника или повозки. Непролазная грязь образуется только там, где почву постоянно месят сотни людских и лошадиных ног. Мостовая — порождение мирской суеты, высокой плотности населения и ограничения жизненного пространства. Грохот колес по ней — исконно городской звук. Петербург видел все мыслимые виды мощения — от гатей из хвороста до асфальта. Наиболее распространенным покрытием стал булыжник, а фирменным — торцы. Последний способ появился в 1832 году. На специальный дощатый настил плотно укладывались торцами вверх шестигранные деревянные шашки. Практически ежегодная замена летом части шашек приводила к тому, что улица издавала “смолистый сырой аромат, этот возбуждающий бодрящий аромат в осеннем воздухе”.47 Однако сосновые и лиственничные торцы ароматизировали улицу только в первые дни после укладки. Потом они и дощатые настилы, на которые укладывались шашки, впитывали грязную воду, а затем возвращали ее в виде гнилостных испарений. Тем не менее, несмотря на дороговизну торцевой мостовой, на то, что она впитывала неприятные запахи, в “доасфальтовый” период она считалась лучшей, поскольку обеспечивала мягкость и бесшумность хода экипажа. Все парадные улицы имели такое покрытие.48

Разнообразные виды мощения превращали некоторые улицы и площади в своеобразный клавесин. Окованные железом колеса при пересечении, например, Невского проспекта по набережной Мойки сначала громко стучали по булыжнику, потом мягко громыхали по известняковым плитам тротуара и выдавали короткую дробь на булыжной полосе, отделявшей его от торцевой мостовой, где шум от колес (ровный гул и скрип песчаной посыпки) был почти не слышен. Затем снова следовала громкая беспорядочная дробь, в которую вплетались два звонких металлических удара. Это была одноколейная линия конки, где между рельсами укладывался утрамбованный щебень, а на полметра по обе стороны от них — булыжник. На другой стороне проспекта повозка издавала звуки в обратном порядке. Чуткое ухо могло отметить несколько акцентированных ударов: колесо встречалось с линией крупной гранитной брусчатки, которой отделяли один вид мостовой от другого.

Важной причиной формирования устойчивой антитезы деревянной Москвы и каменного Петербурга стала многократная гибель первопрестольной в огне, закрепившаяся в коллективной памяти россиян. Особое значение имели мас-штабные пожары 1612-го и 1812 годов. Первый связывался с очищением от грехов, наказанием за которые стала Великая смута, второй — с одолением Наполеона-антихриста, с торжеством русского оружия, с освободительной миссией России. В мелодии и запахе московского мифа — гул пламени и гарь гигантских пожарищ. Петербург тоже пережил несколько крупных пожаров, но они не повлияли на его образ в национальном сознании. Гораздо большее впечатление на самих жителей столицы и на современников производили катастрофические наводнения. “Каменный” Петербург тонул, как положено камню, а “деревянная” Москва горела, как положено дереву. При этом первопрестольная звала на помощь заполошным пожарным набатом, а град Петра, согласно морскому уставу, палил из пушки, как терпящий бедствие корабль.

Различались столицы и голосами птиц. На берегах Невы царствовал воробей. Поскольку городским лошадям из-за недостатка выгонов даже летом давали овес, этим пернатым в Петербурге было приволье. “Плотными стаями срывались они с крыш, с деревьев, как только по пустынной улочке проезжала лихая упряжка; клубками катались по мостовой, выклевывая из еще теплых кучек помета сохранившиеся в нем зерна овса”.49 Теофиля Готье поразил гомон тысяч галок и ворон, слетавшихся вечером к московскому Кремлю.50 В Петербурге этих птиц было гораздо меньше. Объяснение тому можно найти в изображениях Северной столицы XVIII—первой половины XIX века. Деревья на бульварах и в скверах немногим превышали рост человека и потому совершенно не годились для гнездования ворон. То ли дело столетние московские липы и березы!

Петербург был военной столицей империи. Казармы и караулы располагались по всему городу, вследствие чего не было района, где нельзя было увидеть марширующих солдат, услышать дробь барабана и командные возгласы. Добужинский, рассказывая о своем детстве, отметил, что звуки “военных сигналов упражняющихся в своем искусстве трубачей” он слышал постоянно.51 Каждая гвардейская часть имела свой особый марш, и по нему горожанин мог определить, кого он вскоре увидит — курносых белобрысых “павловцев”, рыжих “московцев” или малорослых брюнетов-егерей. Со времен Николая I солдат в полки набирали “по мастям”. Если знаменитый “Свадебный марш” Мендельсона сочетался с цокотом множества копыт по булыжной мостовой, бывалый петербуржец знал, что это движется лейб-гвардии Казачий полк. Во время Русско-турецкой войны 1877—1878 годов император Александр II, восхищенный веселым видом станичников, сказал, что казаки идут в бой как на свадьбу, и с тех пор эта мелодия стала полковым маршем. Военная музыка, подобно покрою и цвету мундира, менялась в соответствии с веяниями времени. При Павле I флейты на парадах визжали, как в Берлине, а при Александре I, по словам французского посла А. Коленкура, все переделывалось по образцам армии Наполеона Бонапарта: “шитье у генералов, эполеты у офицеров, портупея вместо пояса у солдат, музыка на французский лад, марши французские…”.52 Звуки военных оркестров были часто слышны на улицах столицы еще и потому, что гвардейские музыканты участвовали в погребальных процессиях. Генерала провожал в последний путь отряд, состоявший из двух батальонов, четырех эскадронов и шестиорудийной батареи, а рядового в последний путь провожало отделение под командой унтер-офицера. Офицера везли на катафалке под звуки полкового оркестра, а солдата — под треск барабана.53 В городе с огромным гарнизоном и тысячами отставных военных подобные траурные шествия происходили практически ежедневно.54

Поговорка “Питер будит барабан, Москву — колокол” отражает разницу в акустической атмосфере двух столиц. Петербургские барабанщики тренировались не так далеко от жилых кварталов, чтобы их нельзя было услышать. В XVIII— начале XIX века стрельбища находились на Выборгской стороне и острове Голодай. Только в 1885 году затихла канонада на Волковом поле, долгое время служившем полигоном для столичных артиллеристов.55 Хотя в дореволюционной Москве также располагался солидный гарнизон, его звучание по силе и по роли в общем акустическом фоне не шло ни в какое сравнение с тем, как это выглядело в Петербурге. В белокаменной явно главенствовала церковь с колокольным звоном, подавляющим все остальные звуки. Самый басистый петербургский колокол Исаакиевского собора весом в 1860 пудов загудел только в середине XIX столетия. Более древний “Большой Успенский” на кремлевском Иване Великом весил более чем вдвое больше — 4000 пудов. “Сорок сороков” московских церквей буквально окутывали древнюю столицу своим звоном. Это полностью вписывалось в представление о ней как о религиозном центре, о святом городе. В народе было распространено поверье, что, пока стоит Иван Великий, будет стоять и Россия. Оно укрепилось после неудачной попытки Наполеона в 1812 году взорвать знаменитую колокольню. Петербургские колокола такого авторитета не заработали.56 В военной столице мистическими (и одновременно бронзовыми) защитниками города являлись статуя Петра Великого на Сенатской площади, а также памятники Суворову, Кутузову и Барклаю-де-Толли.

Первопрестольная в пасхальную ночь ждала первого удара в огромный колокол Ивана Великого. В Санкт-Петербурге об этом торжественном моменте извещала пушка Петропавловской крепости. В советское время колокольный звон признавался знаком “проклятого прошлого”. “Передовые рабочие” писали в редакцию “Ленинградской правды”: “Звон колокола мешает нам работать и отдыхать… Колокольный звон неуместен во всей обстановке советской жизни. В век индустриализации, рефлексов Павлова, гидростроительства и Волго-Донских каналов он выглядит анахронизмом”.57 В 1933 году звон был фактически запрещен: до 1990-х годов разрешалось только 5 минут звонить в небольшой колокол и ударить в него же во время крестного хода.

В начале XVIII века колокол уступил многие свои функции пушке. Главной причиной такого изменения “голоса государства” была общая смена культурного вектора эпохи. Звон был для царя Петра голосом ненавистной и опасной “старины”, от него веяло сестрицей Софьей, бунтующими стрельцами и московским боярством. Колокол оставили Москве, как бороду — купцам и крестьянам. Бритое же дворянство взбадривали канонадой — громким напоминанием о службе государю. Пушка гораздо лучше подходила для организации триумфов, она возвеличивала светское, военное начало. Это радикальное изменение главного царского звука было естественно и символично. Вместо “пономарей” (вспомним любовь царей XVI—XVII веков к звонам) на престоле оказался “бомбардир”. Это был один из полуофициальных титулов Петра I, так он подписывал некоторые документы в начале своего правления.

При царе-бомбардире началось складывание довольно сложной системы пушечных сигналов. В 1721 году Петр I лично указал, сколько и где палить. Годовщины Полтавской баталии по воинским почестям были приравнены к Пасхе! Каждое 27 июня в честь великой победы над шведами в три приема сотрясали воздух семьдесят девять раз.58 Последующие правители вносили свои поправки в “пушечный лексикон”, оповещавший горожан о начале навигации, о начале дня и его конце (зоревые пушки), о рождения и смертях в царской семье, о государственных торжествах, о прибытии царя в город и т. д.

Еще в Петровские времена вошло в обычай во время царских пиров при подъеме кубков с вином палить из пушек59, и это попытались перенять состоятельные люди во время своих приватных торжеств. В 1743 году было запрещено приветствовать салютом чиновников60 , а в 1827-м Николай I окончательно запретил использовать артиллерию при “частных празднованиях”.61 Пушечный гром стал монополией государства.

Пушечные заряды и основу пиротехнических изделий до начала XX века составлял дымный порох, и в его дыму буквально тонуло праздничное пространство города. Когда в воздух взлетали ракеты, начинали крутиться огненные колеса, а на специальных стендах загорались разноцветные надписи и фигуры, воздух наполнялся волнующим запахом баталии, позволявшим острее сопереживать торжество русского оружия. Иллюминация и салют в государственных торжествах имели одно явно незапланированное следствие. Как известно, присутствие беса в народном сознании маркировалось запахом серы, которая наряду с древесным углем и селитрой была составной частью пороха. Петр Великий, накатывая на своих подданных волны “злосмрадного” дыма во время торжеств с явными языческими чертами, подавал своим противникам, радетелям старины, более чем веский повод подозревать себя в связях с антихристом. В XVI—XVII веках салюты производились так, чтобы пушечный дух не смешивался с колокольным звоном.62 Еще одно ольфакторное впечатление могло смущать православный люд во время официальных празднеств. При иллюминации до второй половины XIX века применялись плошки, заправленные свиным, говяжьим или бараньим салом, — дешевые, устойчивые к задуванию и дождю, но нещадно коптившие.63 В России в церковном обиходе применялись только восковые свечи, поскольку изготовленные из животного жира считались нечистыми. (Московские староверы, устроившие 6 января 1681 года погромы в Успенском и Архангельском соборах, марали дегтем гробницу царя Алексея Михайловича и ставили на нее зажженные сальные свечи.64) Поэтому запах горелого сала, витавший на церемониях, претендовавших на святость, вдумчивым россиянам должен был казаться странным и неуместным. Иллюминации пахли смоляным дымом от сжигавшейся по таким случаям тары из-под этого продукта, в котором, между прочим, варились в аду закоренелые греш-ники.65

Культурная жизнь города, по мнению М. С. Кагана, определялась четырьмя факторами. Первый — природный (ландшафт, климат и пр.). Второй — социальный статус города, причем главную роль тут играет степень социальной неоднородности. Третий — архитектурный. Именно архитектурное пространство, представляя собой постоянную среду обитания, оказывает на горожанина непрерывное воздействие. Четвертый фактор — эстетически художественный. От силы самого этого фактора зависит “характер эстетических потребностей горожан, уровень их вкуса, критерии поведения”.66 Думается, этот список можно пополнить звуковым и ольфакторным фоном. По своему воздействию он более всего похож на архитектурное окружение: человек практически не способен уклониться от его воздействия, причем воздействия постоянного. Известный американский архитектор К. Линч в своей работе, посвященной городу как среде обитания, писал об огромном значении эмоционального фактора визуального восприятия. По его мнению, каждая перемена в ландшафте оставляла “шрамы на мысленном образе”.67 Мы думаем, что такие же “шрамы” оставляло исчезновение одних и появление других запахов и звуков. Если изменение происходило на глазах одного поколения, то чувствительные его представители с большей или меньшей остротой замечали акустическую или ольфакторную утрату, равно как и наиболее заметные новшества в этой сфере. Потомки же воспринимали новый фон как данность, и требовались значительные усилия, чтобы хоть в какой-то мере донести до них то, что ловили уши и носы их дедов, родителей или даже старших братьев. У 15—17-летнего уроженца Санкт-Петербурга выражение, например, “самый трамвайный город” не нагружено впечатлениями, запавшими в память людей, для которых красный вагон, звенящий и пахнущий лаком деревянных сидений, был обычным и нередко еже-дневным средством передвижения.

Город един. Разделение его на пространство, архитектуру, повседневную жизнь, мифологию, запах и звук — игры человеческого разума. Включение в зрительный образ звуковых и ольфакторных впечатлений в какой-то мере возвращает к этому единству, усиливает иллюзию такового. В сознательном и бессознательном мифотворчестве эмоции если не одолевают логические конструкции, то, по меньшей мере, составляют достойную конкуренцию. Построения “Петербург-камень”, “Петербург-корабль”, “Петербург-мужчина”, “Петербург-ино-странец”, “Петербург-военный” приобретают убедительность и стройность прежде всего за счет своей иррациональной составляющей. А последняя — дочка ощущений, в данном случае — ольфакторных и акустических. Представление о Петербурге как о городе “мужского пола” подкреплялось подсознательным ощущением его “мужественности” из-за характера его запахов. Город звучал как полковой двор и как завод, пах конюшней — то есть тем, что традиционно было местом приложения труда и вообще местопребыванием сильного пола. К этому можно прибавить грохот камня, звон металла, масляную гарь, угольный и пороховой дым, гендерная привязанность которых также не требует комментариев. А для оппозиции “деревянной” Москве чего стоит только каменный звук петербург-ского эха, совершенно не похожего на отклик леса?

Военный характер Государства Российского, общий высокий уровень милитаризации практически всех сторон его жизни, специфика способов общения власти и народа сделали ружейную и пушечную пальбу акустической доминантой столицы. Орудие — механический петух Санкт-Петербурга. Империя, которая с XVIII и до начала XX века участвовала во множестве вооруженных конфликтов, которая силой или угрозой ее применения включила в свой состав огромные территории в Европе и Азии, не могла не бряцать оружием. В Петербурге это бряцание было действительно слышимым, внушительным и каждодневным. После 1917 года утрата столичных функций и радикальные перемены в армейской повседневности (продиктованные военными технологиями) резко сбавили громкость военных звуков на берегах Невы. Шум массовой демонстрации, переполненной революционным энтузиазмом, гораздо в большей степени соответствовал представлениям большевиков о мощи рабоче-крестьянского государства.

Житель Торжка за весь свой век не слышал столько разноязыкой речи, сколько за получасовую прогулку по столице. Лязг металла (окованные колеса карет, трамвай), заводские гудки и грохот орудий, запахи моря, порохового и угольного дыма — все это разительно отличалось от того, что окружало подданных царя на остальной территории Российской империи. Ольфакторная и акустическая атмосфера города менялась и соответственно эпохе, и по мере изменения организации пространства, которое он занимал. В первой половине XVIII века это было нечто единое из-за небольшой площади застройки, а затем разделилось на сегменты по социальной специализации районов. До середины XIX века тон задавал гарнизон, со второй половины того же века — промышленность и транспорт. О наступлении промышленной эры город оповестили заводские гудки, превратившиеся в советское время из символа наживы и эксплуатации в знак социалистической индустриализации и трудового пролетарского единства. В смысловой трансформации этого сигнала большую роль сыграло то обстоятельство, что в годы революции паровые сирены стали своеобразным рабочим набатом, призывавшим на борьбу. Прекращение колокольного звона в 1933 году обозначило время, когда любое публичное обращение к Богу стало приравниваться к столь же публичному вызову властям.

Ограниченные рамки статьи не позволяют представить все многообразие ольфакторных и акустических феноменов, сопровождавших изменения в жизни громадного города на протяжении трех столетий. На атмосферу, окружавшую горожан, влияли технические новшества, трансформация самого город-ского пространства. В деревне или небольшом монокультурном городе все звуки и ароматы составляют общее фоновое поле, одинаково всем понятны и подвергаются схожим оценкам. В многоликом Петербурге — ситуация особая. Мегаполис с многообразием социальных функций, с разноуровневой и разновекторной бытовой культурой, с различным микроклиматом в каждом районе и даже в каждой квартире неминуемо должен был иметь сложный набор ароматов и звуковых полей.

Если в первой половине XVIII века куранты Петропавловской крепости были слышны всему Петербургу — таким небольшим он был, то уже через столетие даже пушечные залпы той же твердыни не доносились до его окраин. А. С. Пушкин не без оснований говорил, что единственным европейцем в России является правительство. Именно центральные районы, где концентрировались правительственные учреждения и жили служившие в них чиновники, наполнялись самыми “западными” запахами и звуками, тогда как на окраинах, на “боковых” улицах и в переулках торжествовала типичная российская провинция. Это проявление российского принципа модернизации: всякое движение — сверху и из центра. По своим звукам и запахам “Европа” на берегах Невы переходила сначала в российскую губернию, потом — в уезд и, наконец, — в деревню. Хотя от архитектурных шедевров Росси и Растрелли до мазанок в переулках и на окраинах было совсем недалеко, в умах горожан и приезжих между ними пролегала пропасть. Только первые признавались Петербургом, а вторые так и остались Гаванью, Песками и Лиговкой. Коломну от такой участи спас Пушкин, который, будучи сам частью “блистательного Петербурга”, втащил в него и эту мелкочиновничью слободу публикацией истории о домике, где жила девушка Параша. Великий город признался в родстве с грязными переулками у Сенной только тогда, когда они стали “Петербургом Достоевского”.

“Все улицы Петербурга резко отличаются одна от другой если не зданиями, длиной тротуаров и мостовой, то, по крайней мере, запахом. Да! Это факт исторический, физиологический, не подверженный ни малейшему сомнению. Каждая петербургская улица имеет свой особенный, ей одной только свойственный запах. Миллионная пахнет совсем не так, как Садовая, Конюшенная иначе, чем Мещанская. Только те люди, у которых не вполне развито чувство обоняния, не замечают этого различия. Людей с тонким носом при переходе из одной улицы в другую тотчас обдает совершенно другим запахом. В особенности, как говорится, бьют в нос улицы многолюдные и отличающиеся множеством вывесок с изображениями разных привлекательных предметов. Иногда, обыкновенно рано утром и поздно вечером, в холодную погоду, запахи эти делаются видимы и почти осязательны, сгущаясь в неблаговонный туман или теплый пар, долго носящийся по разным улицам и пахнущий чем-то прелым…

Гороховая пахнет странной смесью горячего хлеба с деревянным маслом. Большая Подьяческая — старыми сапогами и сушеными грибами. Чернышев переулок — сбитнем, тухлыми яйцами и соленой севрюжиной. Фонарный… Но всех не перечтешь. Подробное исчисление запахов принадлежит статистике Петербурга. Мы ограничимся одним указанием на это любопытное и малоис-следованное обстоятельство”.68 Это любопытное свидетельство жителя столицы дорогого стоит.

В огромном городе, городе многокультурном и многонациональном, множество “разнонациональных” и “разнокультурных” звуков и запахов должны были играть роль важного фактора формирования особой ауры, космополитичной и толерантной по своей сути. Сын военного, дворянин, будущий художник Мстислав Добужинский слушал по утрам пение заводских гудков, призывающих пролетариев к станкам. Это же слышалось в спальне чиновника, иностранного посла и самого императора. До окон царского дворца, где на тонкости церемониала смотрели совершенно по-средневековому, долетал запах каменноугольного дыма — ольфакторного символа индустриального XIX столетия. Благовест ежедневно слушали мусульмане и иудеи, над католиками и протестантами гудели колокола православных храмов, а православные слушали, как зовут на службу “латиняне”. Православные верующие, соблюдавшие предрождественский пост, должны были спокойно взирать на веселье протестантов и католиков, праздновавших Рождество на две недели ранее. Из-за несовпадений церковных календарей столичные немцы и поляки иногда уже шумно отмечали пасхальную неделю, в то время как приверженцы “греческой веры” еще строго постились. И наоборот, предпасхальную сосредоточенность ватиканской паствы и последователей Лютера нарушали звуки и запахи неуемной русской Масленицы.

Многообразие города — функциональное и культурное — нашло свое выражение в звуках и запахах, витавших и витающих над Невой. Акустическая и ольфакторная атмосфера града Петрова представляла собой такую же неповторимую смесь иноземного и исконно российского, как его архитектурный облик, его характер. Она — неотъемлемая часть его души, того, что римляне называли genius loci.

1 Анциферовы Н. и Т. Книга о городе. Город как выразитель сменяющихся культур. Л., 1926. С. 3.

2 Там же. С. 17.

3 Анциферов Н. П. Пути изучения города как социального организма. Опыт комплексного подхода. Л., 1926. С. 18.

4 Там же. С. 19.

5 Там же. С. 20—21.

6 Там же. С. 23.

7 Там же. С. 29.

8 Добужинский М. В. Воспоминания. М., 1987. С. 18.

9 Успенский Л. В. Записки старого петербуржца. Л., 1970. С. 109—110.

10 Минцлов С. Р. Петербург в 1903—1910 годах. Рига, 1931. С. 66.

11 Майков А. Н. Избр. произведения. Л., 1977. С. 131.

12 Успенский Л. В. Указ. соч. С. 70.

13 Там же. С. 72.

14 Лихачев Д. С. Я вспоминаю… // Книга беспокойств. Воспоминания, статьи, беседы. М., 1991. С. 28.

15 Успенский Л. В. Указ. соч. С. 74.

16 Там же. С. 76.

17 Там же. С. 78—79.

18 Пушкарев И. И. Николаевский Петербург. СПб., 2000. С. 577.

19 Успенский Л. В. Указ. соч. С. 78.

20 Засосов Д. А., Пызин В. И. Из жизни Петербурга 1890—1910-х годов. Записки очевидцев. Л., 1991. С. 10.

21 Добужинский М. В. Указ. соч. С. 10.

22 Пантелеев П. О. Уличное освещение города С.-Петербурга. Исторический очерк по случаю двухсотлетия Петербурга. СПб., 1904. С. 7.

23 Там же. С. 18.

24 Успенский Л. В. Указ. соч. С. 58.

25 Добужинский М. В. Указ. соч. С. 65.

26 Лихачев Д. С. Указ. соч. С. 17.

27 Добужинский М. В. Указ. соч. С. 6.

28 Достоевский Ф. М. Петербургские сновидения в стихах и прозе (1861).

29 Бенуа А. Н. Мои воспоминания. М., 1980. Т. 1. С. 392.

30 Ривош. Я. Н. Время и вещи. М., 1990. С. 141.

31 Засосов Д. А., Пызин В. И. Указ. соч. С. 30.

32 Бунин И. А. Собр. соч. в 4 т. Т. 4. М., 1988. С. 114; Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 5. Л., 1973. С. 69 .

33 Георги И. Г. Описание столичного города С.-Петербурга 1794 года. СПб., 1794. С. 594.

34 Генслер И. Гаванские чиновники в домашнем быту, или Галерная гавань во всякое время дня и года. СПб., 1863. С. 51—52.

35 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 6. Л., 1973. С. 90.

36 Остроумова-Лебедева А. П. Автобиографические записки. М., 1974. Т. 2. С. 458—459.

37 О распоряжениях в случае необыкновенного возвышения в Петербурге воды. // Полный свод законов Российской Империи. Второе собрание, № 6575, 16 ноября 1833.

38 Матисен Е. А. 7 ноября 1824 года. // “Город над морем”, или Блистательный Санкт-Петербург: Воспоминания. Рассказы. Очерки. Стихи. Сост. С. А. Прохватилова. СПб., 1996. С. 206.

39 Там же. С. 208.

40 Пыляев М. И. Старый Петербург. Л., 1990. С. 132—133.

41 Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 481.

42 Там же. С. 126.

43 В зоологическом саду. // Ленинградская правда, 25 сентября 1924. Экстренный вечерний выпуск.

44 Очерк наводнения в Ленинграде 23 сентября 1924 года. // “Город над морем”, или Блистательный Санкт-Петербург... С. 279.

45 Цит. по: Померанец И. С. Три века петербургских наводнений. СПб., 2005. С. 177.

46 Очерк наводнения… С. 279.

47 Цит. по: Анциферовы Н. и Т. Книга о городе. Жизнь города. Л., 1927. С. 217.

48 Синдаловский Н. А. Петербург в фольклоре. СПб., 1999. С. 169.

49 Успенский Л. В. Указ. соч. С. 89.

50 Готье Т. Путешествие в Россию. М., 1988. С. 230—231.

51 Добужинский М. В. Указ. соч. С. 16.

52 Цит. по: Уортман Р. С. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. М., 2002. С. 275.

53 Полный свод законов Российской Империи. Второе собрание, № 332550, 14 декабря 1857.

54 Засосов Д. А., Пызин В. И. Указ. соч. С. 163.

55 Король В. В. Воздушная гавань Петербурга. СПб., 1996. С. 21.

56 Вадейша М. Г. Колокол и колокольный звон в традиционной славянской культуре. // Проблемы гуманитарного знания: Сб. научных работ. Вып. 1. СПб., 1999. С. 198.

57 Галоши и колокола. // Ленинградская правда, 13 января 1929.

58 Российский Государственный архив Военно-Морского флота (РГА ВМФ). Ф. 19. Оп. 1. Д. 244. Л. 6—7.

59 Уортман Р. С. Указ. соч. С. 148.

60 РГА ВМФ. Ф. 19. Оп. 1. Д. 244. Л. 11—13.

61 Полный свод законов Российской Империи. Второе собрание, № 1266, 26 июля 1827.

62 Токмаков И. Историческое описание всех коронаций российских царей, императоров и императриц. М., 1896. С. 19; Васильев В. Н. Старинные фейерверки в России (XVII— первая четверть XVIII века). Л., 1960. С. 13.

63 Даль В. И. (В. Луганский) Петербургский дворник. // Физиология Петербурга. М., 1991. С. 47; Немиро О. В. Праздничный город. Искусство оформления праздников. История и современность. Л., 1987. С. 139.

64 Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ. // Панченко А. М. Я эмигрировал в Древнюю Русь. Россия: история и культура. СПб., 2005. С. 110.

65 Васильев В. Н. Указ. соч. С. 47.

66 Каган М. С. Культура города и пути ее изучения. //Город и культура. М., 2000. С. 19.

67 Линч К. Образ города. М., 1982. С. 50.

68 Григорьев А. А. Заметки петербургского зеваки. // “Город над морем”, или Блистательный Санкт-Петербург... С. 299—300.